

Но Толстой, богатый и знаменитый, обладающий, по общему мнению, всеми благами, потерянно следит за тем, как разбиваются вдребезги его прежние убеждения, и тщетно пытается изгнать из своего сознания недавно обнаруженную бессмыслицу жизни, которая наполняет и подавляет его. Его удивляет и обескураживает именно то, что, располагая такой огромной жизненной энергией (он работал, по его словам, не менее восьми часов в день без усталости и косил, как заправский крестьянин), он вынужден прибегать ко всяческим уловкам, чтобы не покончить с собой. Жизненная энергия практически не может служить препятствием для самоубийства: все зависит от направления, в котором она проявляется или которое ей навязывают. Впрочем, Толстой сам отмечает, что сила, толкавшая его к самоуничтожению, была подобна той, которая прежде привязывала его к жизни, с той лишь разницей, добавляет он, что она действовала теперь в *обратном направлении*.

Анемичным людям не под силу вникать в тайны бытия, стремиться к своей гибели из-за избытка ума, они не в состоянии сами себя разрушить и погубить; сильные же натуры, когда они входят в конфликт с самими собой, вполне на это способны; они берутся за это со всем пылом своей души, со всем своим неистовством; и именно они подвержены кризисам, которые следует понимать как наказание, поскольку то, что они расходуют столько энергии на самоуничтожение, совершенно неестественно. Достигнув вершины своего творчества, они вдруг начинают задыхаться под бременем неразрешимых вопросов или становятся жертвами такого коловращения ума, внешне нелепого, но вполне понятного и даже закономерного, вроде того, что овладело Толстым, когда в полном отчаянии он до оупения повторял: *К чему? Или: А что потом?*

Тот, кто испытал нечто подобное тому, что испытал Екклесиаст<sup>4</sup>, всегда будет помнить об этом; истины, которые откроются ему, столь же неопровержимы, сколь и неприменимы в жизни: банальное, очевидное, лишшающее равновесия, общие места, которые сводят с ума.

Это ощущение тщетности всего, которое так интересно противоречит ожиданиям, собранным в Ветхом Завете, никто в современном мире не услышал в себе столь отчетливо, как Толстой. Даже позже, когда он выступил в качестве реформатора, он не смог *ответить* Соломону, человеку, с которым у него было так много общего: разве не были они оба великими чувственниками, чья чувственность столкнулась с их же отвращением ко всему и вся? Именно в этом суть неразрешимого конфликта, суть про-

тиворечия, рожденного темпераментом, откуда, должно быть, произрастает Тщеславие. Чем более мы склонны наслаждаться, тем сильнее отвращение пытается нам в этом помешать, и чем неутолимее жажда удовольствий, тем энергичнее оно вторгается в нашу жизнь. «Ты не должен ничем наслаждаться» — такая установка, которую мы получаем от него при каждой попытке забыться. Жизнь прелестна, только если поддерживать себя в состоянии беспричинного упоения, в состоянии опьянения, без которого в существовании нет ничего положительного. Когда Толстой уверяет нас, что до постигшего его кризиса он был «пьян от жизни», это надо понимать в том смысле, что он просто *жил*, то есть что он был пьян, как всякое живое существо пьяно тем, что оно живое. Но вот наступает похмелье, и у него обличье рока. Что делать? Есть еще чем опьяняться, но это уже невозможно; в расцвете сил вдруг ощущаешь себя вне жизни, перестаешь быть ее частью; ты видишь ее насквозь, различаешь ее ирреальность, ибо похмелье означает ясность и пробуждение.

А для чего пробуждается человек, как не для смерти?

Иван Ильич хотел, чтобы его пожалели, чтобы его стали утешать. Толстой, еще более несчастный, чем его герой, сравнивает себя с птенцом, выпавшим из гнезда! Его драма вызывает сочувствие, хотя вряд ли можно принять все доводы, которые он приводит, чтобы ее объяснить. «Негативная» сторона жизни у него гораздо интереснее позитивной.

И если вопросы, которые он ставит, исходят из глубины его души, то совсем иначе обстоит дело с ответами на них. Испытания, через которые он прошел во время своего кризиса, были почти невыносимы, это факт; вместо того чтобы пытаться избавиться от них именно по этой причине, он считает нужным заявить, что, будучи уделом только богатых и праздных, но не мужиков, они не имеют никакого значения. Он явно недооценивает преимущества сытости, которая предполагает открытия, не дающиеся беднякам. Сытым, пресыщенным раскрываются некоторые истины, которые напрасно называют ложными или безрассудными и ценность которых не следует умалять, даже осуждая образ жизни, их породивший. Разве можно отринуть истины, изреченные Екклесиастом? Если иметь в виду конкретные действия, то, безусловно, трудно целиком принять его пессимизм. Но Екклесиаст вовсе не считает, что действие может служить критерием. Поэтому он остается на своих позициях, как другие — на своих.

Чтобы обосновать культ мужиков, который он исповедует, Толстой говорит об их отрешенности и о легкости, с которой му-

жики расстаются с жизнью, не мучая себя бессмысленными вопросами. Но ценит ли и любит ли он их на самом деле? Скорее, он им завидует, ибо считает их значительно более простыми, чем они есть. Он представляет себе, как спокойно они переходят в небытие, полагает, что смерть для них — облегчение, что во время снежной бури они доверяются стихии, как Никита, в то время как Брехунов судорожно суетится. «Как проще всего умереть?» — вот вопрос, который довлел над ним в зрелые годы и мучил в старости. Простоты, которую он постоянно искал, он не нашел или смог обрести ее лишь в манере письма. Сам же он был слишком надломлен, чтобы ее достичь. Как всякий ум, измученный, утомленный и находящийся во власти собственных терзаний, он мог любить лишь деревья, животных и тех из людей, кто в каких-то чертах повторял естественную простоту природы. Общаюсь с ними, он надеялся, и это несомненно, вырваться из власти своих привычных страхов, чтобы научиться агонии, не только терпимой, но даже безмятежной. Успокоить себя, обрести покой во что бы то ни стало — вот что имело для него первостепенное значение. Отсюда видно, почему он не мог предоставить Ивану Ильичу испускать дух в состоянии отвращения или ужаса. «Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет. «Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!»<sup>5</sup>

Эта радость и этот свет не убеждают, они привнесены извне, они искусственны. Нам трудно допустить, что им удастся рассеять мрак, в который погружается умирающий: ничего, впрочем, не предрасполагало его к этому ликованию, которое никак не гармонирует ни с бесцветностью героя, ни с одиночеством, которое подстерегло его.

С другой стороны, описание его агонии производит такое гнетущее впечатление в силу точности деталей, что его было бы невозможно закончить, не изменив тональности и масштаба повествования. «Кончена смерть, — сказал он себе. Ее больше нет». Князь Андрей тоже хотел убедить себя в этом. «Любовь есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику»<sup>6</sup>. Настроенный более скептически к предсмертным рассуждениям князя Андрея, чем позже — к рассуждениям Ивана Ильича, Толстой добавляет: «Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне личное, умственное — не было очевидности». К сожалению, мыслям бедного

Ивана Ильича тоже чего-то недостает. Но после «Войны и мира» Толстой проделал значительный путь: он достиг в своей жизни такого этапа, когда ему необходимо было любой ценой выработать формулу спасения и уцепиться за нее. Можно ли не почувствовать, что этот свет и эта радость, привнесенные в текст, — это то, о чем он мечтал для себя, и что они оказались для него столь не недоступными, как и простота. Не иначе как грезой можно считать и последние слова, которые он заставил произнести своего героя о назначении смерти. Достаточно сравнить с этим назначением, которое отнюдь таковым не смотрится, с этим нарочитым и выпяченным триумфом ту столь реальную и подлинную ненависть, которую этот же герой испытывает по отношению к своей семье: «Когда он увидел утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятило его физические страдания. Он стонал и метался, обдергивая на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их»<sup>7</sup>.

Ненависть не дает освобождения, и совсем не ясно, как от этого ужаса, испытываемого по отношению к самому себе и ко всему на свете, можно сделать скачок в пространство безгрешности, где смерть преодолена, «снята». Ненавидеть мир и ненавидеть себя — значит придавать слишком большое значение и миру и себе, значит оказаться неспособным освободиться и от того и от другого. Ненависть к себе в особенности свидетельствует о громадном заблуждении. Именно потому, что Толстой ненавидел себя, он вообразил, что прекратил жить во лжи. Между тем, не добившись от себя полного самоотречения (на что он был не способен), жить можно, лишь если лжешь и себе и другим. А ведь как раз это он и делает: разве он не лжет, когда, *дрожа*, утверждает, что победил смерть и страх смерти? Этот чувственный человек, который считал чувства грехом, который всегда восставал против самого себя, который любил обуздывать свои склонности, пытался с противоестественным пылом следовать образу жизни, полностью не соответствовавшему тому, что он из себя представлял. Сладострастная потребность мучить себя побуждала его ставить перед собой неразрешимые задачи. Он был писателем, лучшим писателем своего времени; вместо того чтобы получать от этого какое-то удовлетворение, он *выдумал*

себе призвание человека, делающего добро, призвание, во всех отношениях чуждое его собственным вкусам. Он начал интересоваться жизнью бедняков, помогал им, сетовал на условия их существования, но его жалость, то сумрачная, то неудержимо шумная, была не чем иным, как формой проявления ужаса перед миром.

Угрюмость, доминирующая черта его характера, встречается обычно у тех, кто, решив, что они идут по ложному пути и не следуют своему истинному призванию, безутешны от того, что оказались *ниже* самих себя. Несмотря на значительное наследие, которое он оставил, Толстому это чувство было знакомо. Не стоит забывать, что к концу жизни он относился к своему творчеству как легковесному, а то и вредному; он многое осуществил, но себя не реализовал. Его угрюмость объяснялась существованием пропасти, которая разделяла его литературный успех и его духовную неудовлетворенность.

Шакья-Муни<sup>8</sup>, Соломон, Шопенгауэр<sup>9</sup> — из трех этих угрюмцев, на которых он часто ссылается, первый пошел дальше других, и именно на него, несомненно, больше всего хотел бы походить Толстой: это бы удалось, если бы отворачиваясь к миру и себе было достаточно, чтобы достичь нирваны. К тому же Будда покинул семью совсем юным (трудно представить его запутавшимся в супружеской драме и задержавшимся среди родных, нерешительным, мрачным и проклинаящим их за то, что они мешают ему осуществить его великий замысел), а Толстой лишь в глубокой старости смог осуществить свой знаменитый и тяжкий побег. Хотя расхождение между его учением и его жизнью удручало его, у него не было сил исправить положение. И разве мог он что-либо изменить при таком несоответствии его рациональных чаяний и глубинных инстинктов? Чтобы оценить меру его мучений (таких, какие он описывает, в частности, в «Отце Сергии»), важно отметить, что он силился тайком подражать святым и что из всех его амбиций эта была самой опрометчивой. Взяв для себя в качестве примера для подражания именно то, что явно не соответствовало его возможностям, он обрекал себя на новые разочарования. Жаль, что ему не доводилось размышлять над стихом Бхагавадгиты<sup>10</sup>, в котором говорится, что лучше погибнуть, подчиняясь собственному закону, чем следовать чуждому! И именно оттого, что он искал спасения за пределами собственного пути, в период так называемого «возрождения» он был еще более несчастлив, чем прежде. С его гордыней нельзя было так упорствовать в желании заниматься милосердием: чем

далее он следовал по этому пути, тем мрачнее становился. Его радикальная неспособность любить, умноженная на холодную ясность рассудка, объясняет, почему он бросал на всякую вещь, а тем более на своих героев такой беспощадный взгляд. «Читая его произведения, никогда не испытываешь желания ни засмеяться, ни улыбнуться», — отмечал один русский критик в конце прошлого столетия. Зато абсолютно невозможно понять Достоевского, если не почувствовать, что юмор — его отличительная черта. Он увлекается, забывается и, так как никогда не бывает хладнокровным, достигает такой степени лихорадочного волнения, что реальный мир преобразается, и страх смерти не имеет более смысла, потому что ты уже вознесся над ним. Достоевский преодолел и победил страх смерти, как и подобает визионеру, и он был бы совершенно неспособен описать предсмертную агонию с такой клинической точностью, с какой это блестяще делает Толстой. Следует также добавить, что Толстой — клиницист *sui generis*\*: он изучает лишь собственные болезни и, когда их лечит, привносит в это занятие всю остроту и неотступность пережитых ужасов.

Часто отмечают, что Достоевский, больной и неимущий, завершил свой жизненный путь в апофеозе славы (речь о Пушкине!), тогда как Толстому, давешнему баловню судьбы, пришлось окончить свои дни в полной безнадежности. Если подумать, контраст, который представляет собой конец их жизни, совершенно закономерен. Достоевский после бунтарства и тяжелых испытаний молодости думал лишь о служении: он примирился если не с миром, то по крайней мере со своей страной, злоупотребления которой принял и даже оправдал; он верил, что России надлежит сыграть великую роль, и даже что она призвана спасти человечество. Заговорщик былых времен, укоренившийся в действительности и смирившийся, не кривя душой, защищал Церковь и Государство. Как бы то ни было, он больше не был *одинок*. А вот Толстой, напротив, с годами становился все более одиноким. Он погружался в отчаяние и говорил так много о «новой жизни» лишь потому, что обычная жизнь от него ускользала. Он решил обновить религию, но фактически посягнул на ее основы. Боролся ли он с несправедливостью? Он пошел дальше анархистов, и идеи, которые он выдвигал, были либо демоническими, либо смехотворными. Вот откуда в его творчестве столько чрезмерностей и отрицания: все это — месть духа, который так и не смог примириться с унижением смертью.

---

\* Своеобразный (*лат.*).